

DOI 10.23683/2415-8852-2018-4-7-19

«Я НЕ МРАЧНЫЙ, ПРОСТО В ДЕТСТВЕ ПЕРЕЧИТАЛ ТОЛСТОГО»



Денис Гуцко – писатель, лауреат премии «Русский Букер» (2005, роман «Без пути-следа»), лауреат Международной открытой литературной премии «Куликово Поле» (2014). Автор романов «Русскоговорящий» (2005), «Бета-самец» (2013), сборников рассказов «Покемонов день» (2007), «Большие и маленькие» (2017).

В этом номере P&I писатель Денис Гуцко рассказывает о травматической силе текстов Толстого, тбилисском менталитете и перспективах гендерного равноправия. Беседовала Екатерина Максимова¹.

¹ В работе над интервью также участвовали магистранты программы «Литература в кросс-культурной перспективе» А. Апостолова, М. Кашенко, Г. Ковшов, Т. Кузьменко, М. Лесняк, Т. Матюнина, Е. Пилипенко, О. Пискунова, Я. Рудлер.

Тема нашего номера – автопортрет.

Значит, надо выдержать середину между исповедальностью и парадностью: впустить дальше парадной лестницы, но не тащить в чулан с тараканами. Давайте попробуем, а там посмотрим.

Как все начиналось? Наверняка вы слышали этот вопрос не раз.

Да. И ответу я так, как не раз отвечал: «Я всегда знал, что я писатель». Во всяком случае, с тех пор, как в нашу тбилисскую школу пришла молодой учитель литературы Карина Баградовна Мартиросова. Я был отличником, но любил похулиганить, повыделываться, насмешить класс. Маму часто вызывали в школу. И вот пришла новая учительница и как-то сразу подобрала ключик к проблемному отличнику. Стала подсовывать мне книжки в дополнение к школьной программе, я стал очень много читать. Помню, бежал из школы домой, потому что дома ждала начатая книга. Ну, и все было решено. Лет в четырнадцать я точно знал, что «я – писатель», что все, чего я хочу, – складывать слова. Такое спокойное внутреннее ощущение. При этом я ничего не писал. Что называется, сидел на попе ровно. А потом вдруг – раз, мне под тридцать, у меня родился сын, и я с ужасом

осознал, что не написано ни строчки. Пришлось догонять. Складывалось удачно. Меня начали печатать толстые журналы. А потом я сорвал куш – мне выпал «Русский Букер». Как я им распорядился, это уже другая история.

Сейчас кажется, что неправильно?

Пожалуй. Я продолжил работать в газете. Вместо того чтобы пойти ва-банк и все поставить на писательство. Как в том анекдоте, «нет, в декабре я не могу, в декабре у меня елки». В общем, устроил себе такой затяжной декабрь с елками. Продолжал тянуть журналистскую лямку и параллельно пытался писать – урывками. Надо было все бросить, конечно. Возможно, пришлось бы поголодать какое-то время. Но это нормально. Такой куш, как «Букер», не обламывается дважды. Сейчас я это понимаю, тогда не понимал. В общем-то, и сам «Букер» стал для меня отчасти опытом травматическим. Я давно это перерос, теперь уже забавно вспоминать, а тогда, мягко говоря, было неприятно. Я был выдернут в литературный бомонд из совершенно иной реальности. Я тогда работал охранником. Отправляясь на церемонию вручения «Букера» в Москву, впервые купил себе дорогой галстук. В общем, на вручение приехала немножко такая Фрося Бурлакова.

Журналисты, фотовспышки, за столом я, председатель жюри Аксенов, еще кто-то, уже не помню. Я в соответствующем состоянии. Пытаюсь поверить, что это именно мне только что вручили Букеровскую премию. И тут сквозь пелену до меня доходит, что Аксенов все это время рассказывает, какая плохая у меня книга, как это было неправильно – дать премию мне. Понимаю, что все это время сижу с идиотской улыбкой и судорожно пытаюсь придумать, с каким выражением следует все это выслушивать. Есть фотография, где я нервно вдавливает палец себе в лицо, как будто собрался что-то в нем переключить и вдруг заело.

Но после «Букера» вы «проснулись звездой»? Или институт литературных премий как-то иначе работает?

По меркам литературного мира – да, проснулся звездой. Правда, ненадолго. Интересные сюжеты разыгрывались в литературном закулисье. Меня тут же «сосчитали» – причислили сразу к нескольким тусовкам. Так себе слово, но пусть будет. Одни распознали во мне писателя «либерального толка», другие – писателя «кремлевского пула». Я смотрел на эту карусель трактовок и удивлялся. Во-первых, все это высасывалось из пальца – я еще и высказаться-то толком не успел, роман был дебютный. Во-вторых,

было категорически непонятно – зачем все это, кому и для чего нужно. Есть тексты. Они не про политику. Зачем подводить под них политическую идеологию? И до сих пор так. Одни в литературной тусовке уверены, что я оголтелый «либероид», другие – что я «ватник». Все никак руки не доходят заказать себе модельный ватник с какой-нибудь ультралиберальной символикой. Нет, я не «свой» ни для одной из околосредовых тусовок, и мне это нравится. Если человек высказывается и действует из глубоких личных убеждений, а не из соображений выгоды и не в припадке стадности, я уважаю его взгляды, даже те, которых не разделяю. А околосредовая реальность такова, что тебя буквально выдавливают в какой-нибудь лагерь. Сейчас вот Украина всех разделила. Я понимаю, писатели тоже люди, у них гражданский темперамент и политические взгляды. А все-таки литература – это реальность, которая должна объединять поверх политики. Разумеется, для этого должен наличествовать текст, который «над» – над идеологическим и сиюминутным. Но очень часто выбор «читать – не читать» основывается не на художественных качествах текстов, а на том, какой ярлык навешен на автора.

В вашей читательской биографии был текст-триггер, тот, который

вы прочитали, и уже не осталось сомнений, что литература – это что-то невероятно крутое?

Триггера не было, не вспомню. Был Лев Толстой. Я сразу его проглотил, но не сразу понял, насколько необратимо он на меня подействовал. Не лучшим образом, я думаю. Я подхватил от него патологическую склонность к рефлексии, искушение расковырять все внутри, непременно в чем-нибудь себя уличить. Такая рефлексия, переходящая во внутреннее юродство. Когда-то она порядком вывихнула мне мозги. Но, к счастью, это уже в прошлом. Менять себя – это мое второе после литературы любимое занятие. Я бросил курить – с большим трудом, но бросил, похудел почти на 20 килограммов, научился контролировать негативные эмоции – сейчас меня гораздо сложнее вывести из себя каким-нибудь трамвайным или чиновничьим хамством, чем лет десять назад. Посмотрим, что напишется, но я собираюсь писать ироничней и жизнерадостней. Утомила, знаете ли, ситуация, когда даже женщины, с которыми я встречаюсь, говорят: «Не могу тебя читать, ты мрачный». А я не мрачный, просто в детстве Толстого перечитал.

Научите, как «раскачать» в себе писателя. У вас есть специальные риту-

алы, чтобы вогнать себя в писательский транс? Не знаю, четыре раза погладить собаку, включить-выключить свет. И еще. Лучший писательский допинг, по-вашему. Знаменитая творческая зависть, например, действительно качественное топливо?

Вы сейчас довольно предметно описали один из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства. Нет, гладить собак не нужно, нужно заболеть историей, дать ей прорасти. Как это происходит, читайте в рассказе Набокова «Набор», например. Там описано именно это состояние, когда ты ходишь по улицам и что-то выискиваешь или, сидя дома, пытаешься выудить что-то в своем воображении. Как влюбленность. Вдруг это случается, и сразу откуда-то берется азарт, потребность прыгнуть выше головы. Мне важно испытать это ощущение азарта, куража, чтобы начать. Дальше – сложнее. Начинается рутинка. Я так и не научился выписывать планы. Может, дорасту до чего-то вроде карточек, как у Набокова, или записных книжек, как у Чехова. Пока технологичность процесса провисает.

С завистью еще сложнее. Если я в чем-то счастливо сложился, так в том, что я совершенно не умею завидовать. Что мне

нужно такое о человеке узнать, чтобы вдруг начать ему завидовать, даже не придумаю. Но иногда мелькает такое: «О, нет, это же должен был написать я». В «Поправках» Франзена я так реагировал на тот поворот сюжета, где родители манипулируют детьми, чтобы манипулировать друг другом, то есть манипулируют друг другом через детей. Я два дня не мог прийти к себе: какая тема, как выписано, почему я не додумался? Попереживал и успокоился, писать мне это никак не помогло. Нет, надо искать кураж внутри себя. Источником его, кстати, может стать даже чисто техническая задача. В сборнике рассказов «Большие и маленькие» мне было интересно написать тексты в разной стилистике, меня это стимулировало. Один рассказ я писал, думая о писателе Романе Сенчине, другой – вспоминая Людмилу Улицкую, третий – Михаила Шишкина и так далее. Получилось или нет, не мне судить. Во всяком случае ни один критик этого не заметил.

А был в вашей писательской жизни отзыв, который вас по-настоящему озадачил или, наоборот, окрылил, повлияв в вас с абсолютной точностью?

Кажется, в новосибирском университете ко мне подошла девушка-филолог и сказала: я сейчас пишу курсовую и там рассматриваю

ваш любимый стилистический прием. Долго мне объясняла, в каких случаях я им пользуюсь. Я кивал, думал сначала отделаться молчаливым надутым щек. Но она так живо рассказывала, заинтриговала. Я говорю: а не подскажите, как мой любимый прием называется? Оказалось, парцелляция.

Однажды журналистка задала вопрос не в бровь, а в глаз: «Как вы научились так хорошо описывать внутренний мир женщины?». Я не нашелся, что ответить. Просто растаял от этого вопроса, смотрел на нее и думал: говори еще, не останавливайся.

«Вера – хитрая, Мила – расчетливая, кажется, писатель Гуцко не очень любит женщин», – как говорится, не хотелось бы никого обидеть, но примерно таким было резюме группы студентов, недавно прочитавшей роман «Бета-самец». Любопытно, за пять лет, которые прошли с момента издания «Бета-самца», гендер не стал зоной риска для писателя? Учитывая то, как сексизм и харассмент озадачили мир.

И мне не хотелось бы никого обидеть, но боюсь, выводы группы опирались на юношеский максимализм. Вопрос даже не в том, что вы называете второстепенных персонажей романа и почему-то пропускаете главную героиню, любовь к которой перепахивает героя. Я сознательно избегаю

пафосных ноток в описании женских характеров. Для меня в любой женщине изначально заложен эйдос прекрасного. Я понимаю, что это больше описывает устройство моей оптики, но я доволен таким положением вещей. Ни хитрость, ни расчетливость, если речь идет о женщине, для меня не повод вынести обвинительный приговор. Ну хитрая, ну расчетливая – но посмотрите, как она в этом красива. Моя личная мифология такова: первая попытка у Господа была не очень удачная – та, которая называлась Адам. Он посмотрел, все понял и сделал уже как надо. Как читатель я люблю женщин в книгах Людмилы Улицкой. В каждую влюбляюсь, пока читаю. А в ее героинях тоже, знаете, намешано разного.

Важно понимать и помнить, что гендер – это всегда игра. Очень увлекательная, будоражащая, но игра. Нужно признать друг за другом право играть в эту игру, тогда все становится на свои места. Феминистки пусть играют в феминизм, если это их заводит. Но им следует признать и принять, что есть еще люди – другие, они здесь очень давно, намного раньше них – которым неинтересен и чужд их вариант игры про стирание границ и равноправие как одинаковость. Феминизм – он же узкий и безнадежный, как загон на бойне. Но главное, что лично меня раздражает в сегодняшнем феминизме – они там все ужасно, зверски серьезные.

Мужскоеиженское – моя тема, да. И в жизни, и в литературе. Соперничать с этим может только счастье родительства. Отцовство – самое важное и большое, что случилось со мной в жизни. Отцовская любовь – чудо, к которому невозможно подготовиться. Все-таки у женщины есть беременность, тотальная перестройка всего организма, ребенок долгое время остается ее частью в самом прямом смысле слова. К тому же масса социальных и культурных стереотипов работают на то, чтобы женщина могла заранее обжить свое материнство. С мужчинами иначе. Это застает врасплох. Раз – и в тебе распахивается что-то такое, чего ты и вообразить не мог. Ради простого «спасибо, папа» стоило самому появиться на свет. Но есть и другая сторона. Сегодня в моем круге общения есть несколько убежденных чайлдфри. И я понимаю, что это лучший выбор, чем заводить детей, потому что «мне 27, и все говорят, пора». Мамаши, которые срываются на своих детей или не отрываются от телефона, выгуливая ребенка. Папаши, которые в качестве повинности отбывают воскресные два часа в парке. Это жуткий конвейер будущих невротиков. Лучше, мне кажется, любая демографическая яма, чем заселять землю недолюбленными в детстве людьми – с ними ну очень тяжело и муторно.

Герой «Бета-самца» Топилин приходит на «творческий вечер» к Воропа-

еву. Все происходящее там он называет «провинциальным бурлением». Это ваши собственные впечатления от встречи с Ростовом, который в книге назван «провинциальным Любореченском»? Каким было первое впечатление от города, помните?

Первое впечатление было ужасным. Я родился и вырос в Тбилиси. После Тбилиси всерьез полюбить другой город, скажем так, сложно. Бывали в Тбилиси? Это не просто сильные визуальные впечатления. Это атмосфера: город входит с людьми в какое-то особенное сцепление, почти эротическое. Когда у тебя что-то случается, достаточно сделать один звонок, и соберутся все. Просто потому, что иначе – если прибегнуть к восточной терминологии – люди потеряют лицо. Это тот Тбилиси, который я сохранил в памяти навсегда. Но, думаю, воспоминания ненадолго ушли от реальности. Год назад я был в Тбилиси, поехал к своим на кладбище. Захожу в автобус, а там такая система оплаты, когда нужно опускать монетки в приемник. И вот пассажиры заметили, что я замешкался, не сразу сообразил, что да как с этим устройством. Мне начинают объяснять, какую монету нужно опустить, видят, что у меня этой монеты нет, тут же кто-то из пассажиров предлагает скинуться, и вот мне уже передают мелочь. В ростовчанах это

в общем-то тоже есть, но уж очень глубоко спрятано, отправлено в режим гибернации. Помните ужасную холодную зиму, когда люди бесплатно подвозили друг друга, пекли для соседей хлеб? Нам нужны аномальные морозы и снегопад, чтобы это включилось.

Вообще весь мир для меня – это Тбилиси и не-Тбилиси. И не скажу, что это меня радует. Как будто живешь и понимаешь, что после той, которая тебя так сильно обожгла, больше никого не сумеешь полюбить. Когда я выпиваю, начинаю говорить с грузинским акцентом. До сих пор. В Тбилиси невероятная осень, я ее обожал. С восточного склона Мтацминды от солнца выгорает трава, и полынную гарь ветром затягивает в город. Запах опьяняет. Ботанический сад – там прошла моя первая любовь. Мы сбегали с уроков, чтобы там бродить. Однажды, помню, милиционер – видимо, в приступе пуританства – изгнал нас из этого Эдема. Еще есть сказочные тбилисские старушки. Они необыкновенные. Думаю, сплошь колдуньи и волшебницы. У пожилых женщин там особый статус. Не то что словом, взглядом тбилисская старушка останавливает самого разнузданного баламута.

А по поводу провинциальности скажу так. Ростов этой болезни, увы, не избежал. Повсюду кукушка хвалит петуха, планки занижены катастрофически, на каждой маргинальной кухне непризнанный

гениальный поэт, который, правда, написал пять стихотворений – но все насквозь гениальные. Именно от этой атмосферы все самые талантливые и сбегают в Москву. Но я здесь. Потому что, во-первых – не «самый», а во-вторых, у меня ипотека.

Альфа Литвинов и бета Топилин – это же не про то, что «усложнение травмирует», что начитанные и сложные мальчики обречены топтаться на позиции беты?

Не об этом. И совсем не обречены. Топилина ведь не это подвело. В определенный момент он решил, что ему нужно выжить и подстелиться. Как мне виделось, когда я об этом писал, да и сейчас я от этого не отступаю – многие в нашей стране сделали такой выбор. Именно поэтому мы живем в той стране, в которой живем. В заповеднике бета-самцов. В каком-то американском университете проводили наблюдение за крысами. Когда стая лишается альфы, его никогда не замещает бета. Замещает какой-нибудь гамма или дельта, но не бета. Словом, судьба бета-самца – это глубинный трагический выбор.

Я ненавижу в себе проявление беты – когда перестаю пытаться прыгнуть выше себя, прогибаюсь под обстоятельства, когда выбираю путь наименьшей конфронтации,

просто потому что так проще. В общем, для меня метафора бета-самца много что описывает. Но я слышал и претензии к названию романа. Герман Садулаев, например, сказал, что это «не название для русского романа», в самый раз для статьи из желтой прессы.

Вы своими глазами видели рождение мифа, который сегодня реконструируют по фильмам Балабанова и песням Монеточки. У вас есть собственная история о «ликих девяностых»?

История про джип из «Бета-самца» – из реальной жизни. Я пару месяцев успел побыть в числе охранников одного предпринимателя, сопровождал его до дома, потому что «скорее всего, готовится покушение». Никаких сходок, выбивания долгов посредством паяльников и утюгов в моей жизни, конечно, не было. Но девяностые действительно были лихими для всех. На дорогах можно было видеть картину: столкнулись машины, человек вылезает из своего «Мерседеса» и кидает второму участнику ДТП на «Жигули» ключи с криком «Новый пригонишь!» Все это было. И было понятно, что этот человек никуда не денется, продаст квартиру и «пригонит новый».

Как называлось ваше социальное положение в этот момент? То, чем вы занимались, можно назвать одним словом?

Я был студентом геофака. Но успел послужить в ВДВ, так что в качестве подработки «поохранять бизнесмена» казалось естественным выбором. Нет какой-то формулировки. Потом, это длилось всего пару месяцев. В те же годы я успел вагон разгрузить, но было бы смешно утверждать, что я в девяностые был грузчиком. Пробовал даже спекулировать – ухитрился перепродать мешок какао. Все выживали, кто как мог.

Самое убедительное высказывание о девяностых?

Пожалуй, «Асан» Владимира Маканина. Пронзительный и очень точный по интонации текст. Маканин уловил главное – смешение всех границ и ориентиров, когда хороший человек может заниматься плохим делом. В книге российский офицер приторговывает топливом, продает его боевикам, с которыми сам же воюет. Дух времени передан прекрасно. И тем досадней от огромного количества фактических упущений. Начать с того, что в Первую Чеченскую, которая там описывается, не было в Чечне мобильной связи. И много таких неточностей. Скажем, эшелоны с подкреплением приходят

на вокзал Грозного, который к тому времени уже разгромлен. Если бы не фактические проколы, это был бы величайший роман. Почему Маканин не доработал текст – хотя бы в переиздании, не знаю. Сразу вспоминается Шолохов, которому читатель написал, что в «Тихом Доне» неверно указан калибр орудий на линкоре. Пассаж заканчивался фразой: «Потрудитесь исправить». И Шолохов потрудился: внес правку в следующий тираж романа.

Вы можете назвать текст, в котором русский язык достигает своего предела? И еще книгу, которой вы дольше всего верны, которая прошла с вами через всю жизнь.

«Вечер у Клэр» Гайто Газданова – по мне, это лучшее, что было в жизни русского языка. Но Газданов для меня загадочный автор – другие его романы по степени языковой филигранности бесконечно далеки от этого. А «Вечер у Клэр» в этом плане сильнее любого текста Набокова. Хотя именно с Набокова началась моя осмысленная страсть к языку. Даже помню фразу, с которой все началось: «Она кидала его вверх, в солнечную пыль, и ловила его, производя плещущий, полированный, полый звук». В тот момент, когда Лолита подбросила яблоко, я открыл для себя Набокова. Прочитал, забыл, как дышать, перечитал еще три раза и понял, что

только что соприкоснулся с чудом. Не знаю, как живут люди, лишенные способности наслаждаться словом. Мне кажется, это как жить без объемного зрения, лишиться тактильных ощущений.

Очень давно люблю Сэлинджера. Но, похоже, придется пересматривать свое отношение к некоторым его рассказам. Кое-что уже не считывается, кое-где он перетончил. В аудитории мы разбирали рассказ «Перед самой войной с эскимосами»: антивоенный пафос не считывается, а без него вся конструкция начинает плыть. Помню еще, когда мой сын прочитал «Хорошо ловится рыбка-бананка» и я поинтересовался его впечатлением, он пожал плечами и сказал: «Ну вообще-то не понятно, почему этот чувак себе в голову стреляет». Если не понимать, что это история человека, вернувшегося с войны, которая выжгла его изнутри, финал повисает в воздухе. А по тексту это не очевидно. И тем не менее Сэлинджер – стилистический гений. Хоть и впадает местами в ересь чрезмерной утонченности.

Какой запрос к писателю формирует сегодняшний книжный рынок? Что нужно писать, чтобы «тебя продали»?

Не писать рассказов, на этом жанре имени не создашь. Есть исключения –

но они штучные. Слава Сэ, например, Елена Долгопят. Из начинающих – Ольга Елагина. Есть запрос на стиль, на литературу «про стиль». В «Немцах» Терехова, в «Лавре» Водолазкина – не только сюжет и тема, но и оригинальный стиль, стилистические красоты, яркие приемы.

Никуда не делся запрос на литературную проповедь. Я такую литературу не люблю. Писатель-пророк – фигура, которая меня бесит. Все точки над і в этом вопросе расставил Шаламов, который для Солженицына придумал убийственную формулировку – «пророческая деятельность». Я готов читать проповеди Толстого, но современников – увольте, без меня. Сам бы я никогда не взялся ничего переливать напрямую из мозга в мозг. По-моему, это просто неприлично. Послушайте интервью Людмилы Улицкой – несмотря на всю ее житейскую и писательскую мудрость, несмотря на популярность, она никогда не напяливает пророческую тогу. А вот слушать интервью с последним русскоязычным нобелевским лауреатом я не могу как раз из-за неудержимого уклона в мессианство – простите, буквально на ровном месте. Но запрос на мессианство есть. Хотя мне не совсем понятно, как современный человек в принципе может пребывать в такого рода поиске, зачем ему учитель, к которому нужно обращаться за готовыми ответами.

Много лет сохраняется мода на нон-фикшн. Одно время мне казалось, что откат массового интереса от художественной литературы обусловлен тем, что литература в какой-то мере сама себя дискредитировала. Русская литература – это мощный инструмент невротизации. Она ведет к усложнению человека, зачастую совершенно неоправданному, в тех вопросах, которые и так сложны. Скажу вам как бывший книжный мальчик: если я начну перечислять проблемы, которые пришлось на предельном напряжении сил решать в реальном мире, который почему-то мало в чем совпал с книжным, – вы расплачетесь. Один пример. «Гранатовый браслет» Куприна у нас преподносится обычно как история возвышенной любви. Но это же печальная и страшная история – человек, вычеркнувший себя из жизни, придумавший себе любовь, заменивший жизнь грезами. Я за то, чтобы появилась русская литература, которая оставалась бы русской, но при этом люди бы там не вешались массово, не умирали от тоски, не загоняли себя в неврозы и безысходность. Прочитал

«Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова, и это книга, выдержанная именно в таком ключе. Традиционная русская реальность, в которой «все плохо», смягчена спасительным светом иронии. Я уверен, что мир спасет ирония. Без нее мы лопнем от переизбытка догм, греховности, эмоций, рассудочности, – словом, всего этого человеческого-слишком-человеческого мусора.

Я очень люблю и хорошо знаю Варлама Шаламова. Но недавним открытием стал для меня другой автор, написавший о Колыме. Мне попался рассказ Георгия Жженова «Саночки». Жженов тоже сидел, у него не 17 лет ГУЛАГа, как у Шаламова, но реальный срок в очень тяжелых условиях. И вот «Саночки», где человек находится в нечеловеческих условиях и цепляется за любую искорку человечности – пусть даже в своих мучителях. Жженов показывает, как в любой безысходности можно эту искру уловить – и самому от нее согреться. Русским писателям часто не хватает этой способности видеть искру в непроницаемом, казалось бы, мраке.

"I AM NOT GLOOMY, IT'S JUST MY CHILDHOOD READING WAS TOLSTOY"

Denis Gutzko – a writer, the laureate of the Russian Booker Prize (2005, for the novel "Without trace"), the laureate of the International award in literature "Kulikovo pole" (2014). The author of the novels "Russian speaker" (2005), "Beta male", collections of short stories "Pokemon Day" (2007), "Big and little ones" (2017).

In this issue of P&I Denis Gutzko talks about his writing, traumatizing effect of Tolstoy's texts, mentality of people living in Tbilisi, and future of gender equality. Interviewed by Ekaterina Maximova.

